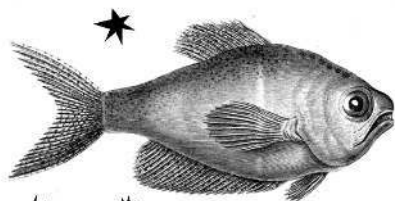




*Марте, без которой многие из этих рассказов,
возможно, не были бы написаны*

* НРИНА *
ХЕИМЕЦ *



* * *
* КЛУБ *
* ЛЮБИТЕЛЕЙ *
* ДИАФИЛЬМОВ *



МОСКВА
АСТ

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Х35

Книга публикуется в авторской редакции

Хеймец, Нина

Х35 Клуб любителей диафильмов / Нина Хеймец. — Москва: АСТ, 2015. — 288 с. — (Лабиринты Макса Фрая).

ISBN 978-5-17-088677-7

Эта книга — приглашение к путешествию. Эти путешествия совсем не обязательно сопряжены с дальними поездками, хотя, бывает, и с ними тоже. Путешествие — это изменение баланса между знакомым и незнакомым. Привычные вещи, города, ситуации могут оказаться не такими, какими мы привыкли их воспринимать, подчиняющимися малопонятным нам законам. Для этого надо в них всмотреться. «Всматриваться» — одно из ключевых слов в этой книге.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-088677-7

© Нина Хеймец, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2015

СТЕКЛЫШКИ

Памяти Иры

Мой дедушка Зелиг записал свои первые слова на русском языке, когда ему было тринадцать: еврейскую школу, в которой он учился, однажды закрыли, а всех ее учеников, числом сорок девять, перевели в школу рабочей молодежи, расположившуюся на первом этаже бывшего универмага братьев Казанцевых. Второй этаж здания пустовал — разбитые окна заменили пока только внизу, и крышу пока что тоже не починили. Говорили, что на втором этаже ночуют нищие и жгут там костры, а утром просыпаются и идут дальше — улица, на которой стояла школа, спускалась в заросший кустарником овраг, там превращалась в глинистую тропинку, такую, что в дождь и не пройдешь, проверено, а потом, на подъеме из оврага, снова становилась улицей и приводила к вокзалу.

Вечерами, погасив лампу и лежа в кровати, Зелиг проходил этим маршрутом. Выждав, пока станционный сторож отвернется, он прокрадывался мимо, бросал овчаркам ливерную колбасу — чтобы отвлечь их внимание, по-пластунски пробирался вдоль застывшего на рельсах состава, проникал в товарный вагон, прятался

в нем и уезжал. «Пока хватит дыхания». Вдох — поезд мчится так быстро, что вокруг него образуются вихри и движутся за ним, срывая пласты воздуха со всего, что приблизилось к рельсам — с полустанков, водонапорных башен с летящими на пол тяжелыми каплями, с двускатных крыш над затянувшимися дымкой оконцами, с покрытой инеем земли. Выдох, в новом городе — улицы начинаются у твоих ног; здания кажутся плоскими, но спустя несколько секунд в стенах появляются двери, витрины, над ними — вывески; в окнах можно увидеть фрагменты комнат; в стеклах отражаются солнце и небо; воздух становится плотным и ровным, и ты забываешь ту скорость и то дыхание, оглядываешься по сторонам и идешь.

* * *

В тот день в классе писали диктант. Учитель — высокий сутулый человек в белой рубашке без воротничка — читал им из толстой книги в картонном переплете. Многие слова были Зелигу незнакомы, но и те слова, что он уже слышал и знал их значение, ему приходилось задерживать в памяти. Он будто накидывал на каждое слово нитки, не давал ему исчезнуть, раствориться, и, пока слово звучало у него в голове, пока проявившая перед зажмуренными глазами картинка, из которой прорастали другие картинки — фигуры людей и животных, растения, тучи, дома и моря, не распадалась на сотни разноцветных треугольников, кругов и квадратов, Зелиг должен был успеть подобрать к нему недавно выученные буквы — как если бы он по фотографии пытался найти в людной комнате нужного ему человека. Потом он переписывал буквы

в тетрадь, стараясь правильно соединять линии и не забрызгивать строчку чернилами.

Это произошло ближе к концу диктанта. Зелиг слышал, как его одноклассники переворачивают в тетради законченную страницу; у него было исписано только несколько строчек. Створка окна захлопнулась, видимо, из-за сквозняка. От удара стекло разбилось. В ту же секунду, сквозь образовавшееся зубчатое отверстие, в класс ворвалась птица — грач. Дети смотрели на птицу, и Зелиг смотрел вместе с ними, а потом что-то отвлекло его — тень движения — и он взглянул на пол. Мечущийся грач отражался в осколках стекол. Зелиг видел то переливавшиеся черные перья, крылья, лапки, клювы, то десятки маленьких птиц, уменьшавшихся, удалявшихся от него, падавших куда-то вверх животами. Та земля, куда падали птицы, была другой — не твердой, а состоящей из густого дыма. Дым расступался, образуя огромную воронку — только так они могли там поместиться. Зелиг посмотрел под ноги, увидел недавно крашенные доски, следы мокрых ботинок. Через несколько секунд учитель опомнился, бросился открывать окна. Грач вырвался на улицу.

В том же году у дедушки появилось увлечение — калейдоскопы. Он мастерил их сам, по чертежу, который случайно обнаружил в старом, дореволюционном еще, учебнике математики. Он выменял на рынке стеклорез и зеркало, вырезал нужные детали. Первый калейдоскоп дедушка сделал черно-белым: он использовал матовый плафон от керосиновой лампы, покрасив часть стекляшек чернилами. Когда осколки высохли, он выцарапал на них булавкой силуэты птиц. Его пальцы всегда были в ссадинах: он подбирал на улице раз-

ноцветные осколки, умудрялся находить их буквально всюду — будто там, где он жил, когда-то стоял огромный стеклянный город, а потом — по какой-то причине — разлетелся вдребезги, осыпался, врезался в землю. Некоторые кусочки стекла, впрочем, удавалось опознать: фрагменты фар, окон поездов, очков, биноклей, настольных ламп, уличных фонарей. Дедушка хранил их в специальных деревянных ящичках с табличками. Остальное хранилось в коробке с надписью «разное».

Окончив школу, дедушка выучился на инженера-железнодорожника, носил форменную фуражку, работал на сортировочной станции, в длинном кирпичном здании, за депо. Он отвечал за исправность поездов дальнего следования. К тому времени дедушка уже несколько лет вел дневник. Дневник занимал три высоких шкафа в нашей квартире на пятом этаже. Всматриваясь в осколки, дедушка, по всей видимости, стал очень чувствителен к цветам и их сочетаниям. Говоря по правде, цвета он замечал в первую очередь, а обстоятельства, при которых эти цвета появлялись — во вторую. Бабушка рассказывала маме, а мама — мне, как, придя с работы, дедушка мог сказать, что день был очень желтым, «примерно на две пятых»: семь желтых платяев на вокзальном перроне, желтые каски ремонтных рабочих; желтый пиджак в машине скорой помощи, канарейка на дереве перед зданием депо. Они ужинали, а потом дедушка шел в спальню — там у него был оборудован верстак. Он доставал с полки заранее заготовленный отрезок трубы. Из ящика письменного стола он доставал пенал, в котором хранились зеркала. Потом он выбирал нужные осколки (желтых было примерно на две пятых) и мастерил калейдоскоп — про этот день. Ка-

лейдоскопы хранились в строгом порядке, но даты на них обозначены не были — только соотношения цветов. «Четыре пятых оранжевого», «треть зеленого», «треть фиолетового» и тому подобное. Бывало, дедушка неделями не притрагивался к своей коллекции. Но были и вечера, когда он подолгу сидел в кресле, направив на свет настольной лампы один из своих калейдоскопов. Он вращал металлическую трубку то в одну сторону, то в другую. Выражение его лица менялось — он улыбался, становился задумчив, хмурился, что-то тихо говорил сам себе. Бывало, он звал бабушку: «Вот, посмотри». Она смотрела на эти стеклянные кусочки, переливающиеся фрагменты, исчезающие друг в друге и возникающие снова, а дедушка ей рассказывал, что в это день встретил друга, про которого все думали, что он умер, а он не умер, а вышел из красного трамвая как раз, когда дедушка стоял на остановке.

Когда началась война, дедушку призвали на фронт. Он был начальником санитарного поезда, вывозившего раненых с передовой. Через три года после начала войны бабушка получила извещение о том, что дедушка Зелиг пропал без вести: эшелон попал под бомбежку, почти все, кто в нем ехал, погибли. Тело Зелига не нашли. Еще три года спустя бабушка получила по почте посылку. Открыв ее, она увидела калейдоскоп. Его корпус был сделан из обрезка водопроводной трубы. К калейдоскопу прилагалось письмо. Капитан запаса Н. писал, что бомбежка произошла ночью, а поздно вечером дедушка как раз закончил мастерить калейдоскоп и оставил его Н. на хранение. Теперь Н. возвращает калейдоскоп семье Зелига. Бабушка долго держала калейдоскоп в руках прежде чем решилась в него посмотреть. Калейдоскоп был разбит. Стеклянные фрагменты

осыпались. Бабушка сорвала с противоположного конца трубы крышку со стеклышком и высыпала осколки себе на ладонь. Разноцветные стеклышки переливались в свете лампы. Бабушка и моя семилетняя мама смотрели на день Зелига. Меня тогда еще не было. Бабушка сказала: «Три четверти синего».

* * *

Когда я проезжаю в трамвае мимо Старого города, я сажусь так, чтобы между мной и тянущейся вдоль рельсов стеной из неровных камней был проход и еще ряд сидений — одна из тех привычек, которые человек сам в себе не замечает. Но я иногда замечаю. Я вижу, как городские стены выгибаются наружу, по ним идут трещины, а потом стены не выдерживают, и все разлетается: каменные вздутия крыш, башни, антенны, мощенные булыжниками мостовые, оливковые деревья, люди в одеждах разных цветов, оконные стекла, шахматные доски, книги в кожаных переплетах, винтовки, сабли, мечи, покрытые патиной монеты, кости, черепки, тонны черепков, тучи, звезды, дождь. Красный свет. Трамвай резко тормозит. Я подаюсь вперед, потом выпрямляюсь. Я открываю сумку, убеждаюсь, что не забыла взять с собой зонтик. Между стеной и рельсами — газон из мягкой травы.

Двадцать лет назад я уехала из города, в котором родилась. В этих широтах совсем другие цвета — очень яркие, даже когда небо покрыто облаками. Дедушке бы здесь понравилось. Я часто думаю о нем. Я привезла с собой несколько его калейдоскопов. Иногда я смотрю в них и пытаюсь угадать истории тех дней, когда они были сделаны. Я вижу лишь узоры из переливающихся

фрагментов. Еще, мне бы очень хотелось выяснить, что было в том последнем дне — в том, где три четверти синего. Но, я знаю, встреча не обещана.

Вечерами я выхожу на балкон и смотрю на освещенный огнями город. Если бы сделать про него калейдоскоп, он был бы на четверть золотым, на четверть серебряным, на четверть черным. На четверть он был бы прозрачным, чтобы вместить все лица — родные и те, которые уже никто не помнит. Можно было бы смотреть в него, пока хватит дыхания.

ОММАЖ АНДЕРСЕНУ

Письмо оставил в морозильнике. Подумал: «Если и есть нечто постоянное, так это — там. Одна и та же температура, круглый год, и все процессы при ней замирают. Могут, конечно, электричество отключить, но в здании, все же, генераторы, а потом, глядишь, и починят. Незначительное колебание по сравнению с тем, что происходит — вокруг, везде, со всем»

Там оно и будет, пока не найдется. В квартире бы оно точно затерялось — перебор поверхностей. Слишком много шкафов, ящичков, коробок, щелей, стопок. Добавим к этому сквозняки — врываются в окна, меняют вещи местами, а могут и забрать с собой. Вынесет этот жалкий листок на улицу, а там вода, конечно — дождь либо был, либо будет. Где бы листок ни упал, он окажется между двумя дождями, и все. Ведь, дело даже не в самих молекулах, а в связях между ними, и вот сухое и плоское становится влажным и объемным, а потом исчезает. И только чернила — просачиваются в землю, смешиваются с водой, а вода, как известно, все помнит.

Открыл дверцу — завернутый в белую магазинную бумагу сом, и полиэтиленовый пакет, нарядный такой,

пестрый, а в нем — килограмм замороженных горошин. «Один умер, другие — не родились». Положил листок между ними. Несколько секунд не выпускал его из пальцев, но холод немедленно дал о себе знать — сводил суставы, выталкивал руку, уходи уже, уходи. Ушел.

* * *

Договором это не предусматривалось, но в квартире обнаружился старый холодильник — в рабочем состоянии, даже в сеть включен. Считай, повезло — с деньгами у меня сейчас не очень. Открываю я, значит, морозильник, и — что за фигня. Лежит пакет с горохом — ну, это ладно. А рядом — рыбина. На первый взгляд, вроде, ничего особенного. А потом пригляделся — она вся в буквах, вся исписана от головы до хвоста. Я зачем-то закрыл дверцу, потом снова открыл — будто надеялся, что мне показалось. Не показалось. Я стоял и думал: «Что предпринять в этом случае?», словно в отношении мороженой рыбы вообще задаются таким вопросом. Потом я вытащил ее — холод обжигал руки; положил на кухонный стол. Почерк оказался почти детским, крупным, но видно было, что писал не ребенок. Я сел на стул, попытался вчитаться. «...особенно вечером, когда луна оказывается в созвездии Тельца... и ремонт на лестнице...». Думаю: «Что-то не вяжется тут». Пошел за увеличительным стеклом, долго его искал — коробки еще не распакованы; нашел, вернулся. То, что я поначалу принял за чешую, оказалось обрывками бумаги. Бумага, причем, была двух типов — белая, упаковочная и тонкая, со следами тетрадной разметки, на ней-то все и было написано. «О'кей, — думаю, — так что там с лестницей?». Смотрю — а строчки-то уже и нет. То есть, луна с тельцом на месте, но дальше речь про какого-то типа,

у которого «столько шляп, сколько существует настроений, и он каждую неделю перекладывает их в шкаф». Я снова взялся за увеличительное стекло и, кажется, понял, что произошло. В комнате было тепло, все-таки июнь месяц. Рыба, пока на столе лежала, подтаяла, вот бумажки на ней и сместились. В этом, наверное, и было дело. Район не ахти, проводка старая, перебои с электричеством гарантированы. В здании, правда, есть генераторы — с лучших, что называется, времен, но в каком они состоянии — большой вопрос. Вот морозильник и оттаивал, а потом опять замораживался, и так много раз подряд. Собственно, никто не знает, сколько это продолжалось — в агентстве проговорились, что квартира уже давно стоит пустая. Разгадал загадку, и словно на душе легче стало. Вернул рыбину в морозильник и пошел разбирать вещи. Спать лег поздно, но все никак не мог заснуть. Ворочался с боку на бок. Думал: «Что же там, изначально, написано было? И кто писал? И почему чернила не расплылись? Наверное, водостойкие». Не выдержал, встал, пошел на кухню. Достал рыбу: «всегда пустота... не менее килограмма крыжовника». Помню, мне захотелось швырнуть эту рыбину об стенку. Но я положил ее на место, вернулся в кровать и заснул.

Так повторялось каждый вечер. Я приходил с работы, зажигал настольную лампу, клал под нее рыбу, вчитывался. «...взгляд не может проникнуть... лучшее время суток... [зачеркнуто]», «...придется это узнать... смотрю в зеркало как обычно... не более четырех игроков». Я отодвигался от стола, вставал, шел на балкон — там мне лучше думалось. Мой этаж — одиннадцатый, почти полгорода видно, гирлянды фонарей, огни на высотках. Однажды я поймал себя на том, что всматриваюсь в прохожих, там, далеко внизу, словно ожидаю узнать в одном из них — автора доставшегося мне текста. Я об-

ратил внимание на то, что смотрю, главным образом, на людей, удаляющихся от меня, смотрю им в спину, будто тот человек — обязательно уходит. «...и водопады... пойдем в тир...увеличить до десяти».

* * *

Однажды, вернувшись с балкона в комнату, я заметил, что строчка, которую я прочитал несколько минут назад, исчезла — вместо нее была белая бумага. Рыбина лежала на столе, проступившая на бумаге изморозь начала подтаивать. Если бы рыба была живой, я отпустил бы ее в реку. Но это была давно замерзшая рыба с ввалившимися глазами. Я достал из ящика нож. Я не сразу решился, но потом — разрезал рыбу на кусочки, вместе с бумагой. Потом я захватил из морозильника пакет с горохом и пошел на балкон. Там стоял оставшийся от прежних жильцов деревянный столик. Я положил кусочки рыбы на потемневшую от сырости столешницу, и горох из пакета — высыпал туда же. Все произошло, как я и рассчитывал, даже лучше и быстрее. К кормушке стали слетаться птицы — будто поджидали. Одна, две, потом я насчитал десять и сбился со счета — над домом кружила целая стая. Вернее, стаи. Птицы были разными. Вороны, голуби, но были и такие, каких я здесь прежде не видел. Балкон будто накрыло рябым облаком, я отступил в комнату. Через несколько секунд птицы разлетелись, кормушка была пуста. А потом пошел дождь.

* * *

Известно, что птицы могут передвигаться быстрее времени, а рыбы — быстрее памяти.